

— Олеся, по литературной Москве разнесся слух, что вашего мужа — литературного критика и журналиста Владимира Вигилянско-го рукоположили в священнослужители и вы соответственно стали “матушкой”. В то же самое время поговаривают, будто вы ушли в монастырь и теперь работаете шофером у настоятельницы Новодевичьего монастыря игуменья Серафимы. Но совсем недавно вас можно было видеть по телевизору в вашем обычном качестве — вы читали свои стихи и говорили о русской культуре. Несколько недель назад мы с вами встретились на презентации журнала “Золотой век”, в последнем номере которого напечатан ваш рассказ “Лучший друг опального князя”. А в только что вышедшем журнале “Новая Европа” — ваше эссе “Богословие в жизни”... Не слишком ли разноречивую информацию о себе вы даете своей жизнью? Как это все совмещается? И вообще — что здесь правда, “жестокая реальность”, а что — карнавал, поэтический каприз, экстравагантная выходка?

— Как известно, “о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ: о себе”. Это — “Записки из подполья”, помните? Вы меня провоцируете свернуть на этот неисчерпаемый для каждого человека предмет... — И все-таки...

— Моего мужа Владимира Вигилянско-го действительно рукоположили недавно в дьяконы Русской православной церкви, и это прежде всего его сюжет, достаточно серьезный и глубокий и, уж конечно, проходящий в стороне от моих “карнавалов” и “поэтических выходов”.

Что касается меня, то в монастырь я “не ушла”, хотя и разъезжаю по делам Новодевичьего монастыря на большой неповоротливой черной “Волге” в качестве шофера игуменья Серафимы. Тем не менее я по-прежнему веду поэтический семинар в Литературном институте и мечтаю пробиться к письменному столу, чтобы хоть немного продвинуться в глубь моего романа, который неподатливей самого тугого руля и опасней езды в крошечной темноте...

Что касается “поэтических капризов”, о которых вы упомянули в разговоре о судьбе, то, пожалуй, и тут я ничего “не конструировала”, то есть “не капризничала”; игуменья Серафима сама мне позволила и предложила у нее пошопериться. Что ж — “чем случайней, тем вернее”! И не только в поэзии, но и в жизни.

— Вас наверняка более всего привлекала сама экстравагантность этой ситуации — поэт Олеся Николаева, доцент Литературного института, член Исполкома ПЕН-центра и крутит казенную баранку в черном платочке, в длинной-предлинной черной юбке. А юбка, между прочим, откуда-нибудь из Лондона, платочек — из Парижа... Не работаете ли вы прежде всего на свой поэтический имидж — “поэт в церковной оgrade”?

— Вряд ли... Я слишком всегда дорожила непосредственностью души, вдохновением, тем, что Константин Леонтьев называл интенсивностью жизни, чтобы еще заботиться о конструировании собственного имиджа. Если он не поступает изнутри как некая физиономия судьбы, то лепить его извне — дело скучное и бесплодное. А что касается юбки и платочка — то все очень похоже на то, как вы себе это представляете. Странности. Экзотика. Новая жизнь. Чрезвычайно колоритная игуменья — доктор наук, лауреат Госпремии, автор десятков научных открытий, профессор, знаменитый ученый. Послушницами у нее почти сплошь — кандидаты да доктора наук: университетская публика. На первый взгляд — они учатся здесь ткать, полоть на многогектарном подсобном хозяйстве, шить послушницкие платья, готовить еду на двадцать, тридцать, сорок человек, а на самом деле — они учатся послушанию, они учатся слушать поступь Духа Святого.

— А не стоит ли за этим столь обычное для русской интеллигенции, которая приходит к церкви, желание “опроститься”? Профессору — непременно уйти в дворники, доктору наук — в сторожа? А поэту — в шоферы? — Действительно, у новоначальной, то есть только что воцерковившейся, части интеллигенции всегда был и есть такой комплекс: ей кажется, что надо непременно отказаться от даров культуры для того, чтобы войти в Церковь; что, если она надеет рваные порты вместо отглаженных брюк и будет по-мужичьи прихлебывать борщ, утираясь рукавом, она делается ближе к народу, а следовательно, по ее логике, и к Церкви. Этой такой этнографический и социальный крен в интеллигентском восприятии Церкви, своего рода искушение, этокое религиозное народничество.

— Но почему вы считаете, что это искушение? Разве плохо чувствовать себя единым со своим народом? Разве это не по-христиански?

— Это разные вещи: чувствовать себя

единым со своим народом или подделываться под него. “Ходить в народ” и входить в Церковь — это не одно и то же. Народ — этнографический народ — явление “мира сего”, а церковь — мистическое тело Христово — явление неотмирное. Смешение этих двух уровней бытия всегда было чревато трагедией в России. Логическим следствием этого смешения и была революция с ее отъявленным материализмом, с одной стороны, и с романтическими, религиозными, хотя и безблагодатными идеалами — с другой. “Опрошенство” — путь ложный и тупиковый: я не верю в ре-

— Дело же не в этом — люблю или не люблю. Дело в самой этой, на мой взгляд, верхоглядской и вредной тенденции — между прочим, весьма антикультурной и эклектичной — вот так своевольно и безапелляционно рассекать единое церковное сознание, в котором блестящий византист Георгий Флоровский ничуть не противоречит простецу старцу Силану, а ученый богослов прот. Александр Шмеман — духовнику Троице-Сергиевой лавры старцу Кириллу...

Ах, почему-то и Гоголь — не самый большой простец в этом мире, и Достоев-

берализма — догматик, на фоне идолопоклоннических жертвенников — ортодокс”.

— Так это был некий оппозиционный жест, когда вы называли себя в какой-то телепередаче “ортодоксальной христианкой”?

— Возможно. В знаковой системе либерального мышления такие слова, как “догматическое сознание”, “ортодоксальный”, стали просто ругательными. Хотя мне не близок этот пафос — непременно, во что бы то ни стало быть “в оппозиции” и при этом к чему-то и к кому-то “примкнуть”. Среди интеллигенции это считается “хорошим тоном”. Я слишком хорошо помню, что первым оппозиционером был

на пир. Но и это еще не все, ибо “много званых, но мало избранных”. Помните, с этого пира был изгнан человек, оказавшийся здесь не в “брачной одежде”? Так вот — кто может из пришедших ко Христу сказать, что он — воистину пришел, а если пришел, может ли он поручиться, что на нем именно эта, “брачная одежда”, а не грязная роба с чужого плеча, залатанная оборванными цитатами?

— Вы так горячо об этом говорите, что складывается впечатление, будто ваш роман имеет какое-то отношение к этим проблемам.

— Отчасти. Его условное название — “Наемник”. То есть не тот добрый евангельский “пастырь”, который “душу свою полагает за овец”, которому овцы — “свои”. Наемник тот, кто только притворяется пастырем, но как только приходит волк, то есть беда, опасность, он бежит и оставляет овец, и волк расхищает их. И хотя я не люблю аллегорических произведений, все же как образ это очень накладывается на теоретизирующее знаковое мышление, которое до поры надмевается своими рациональными выкладками, но всегда терпит крах перед лицом трагедии, боли, смерти. Здесь кичащийся своими ухищрениями интеллигентский разум бежит в панике, покидая как своего носителя, так и последователей. Но, конечно, это так, голая схема. В романе все-таки герои должны быть живыми... И они не всегда слушаются Автора, как монахи — своего игумена...

— Ну вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Вот вы говорите: монастырь, послушание. А даже ваши собственные герои не слушаются вас. Как такое послушание согласуется с христианской свободой? Со свободой творчества?

— Послушание не согласуется со свободой, вернее, соотносится с ним как антоним. А со свободой — вполне. Потому что свобода — это тоже антоним своеволия. Ведь посмотрите, как живет человек, как он мается в сетях несвободы! Сверху над ним тяготеют звезды, движения созвездий приневоливают его к перепадам настроений, падениям, взлетам — грубо говоря, к “неприятностям на работе” и “удачам в любви”. Все эти безумные астрологические прогнозы... Все эти гороскопы. Полнолуния... Приливы-отливы... Я очень огрубляю, конечно, но все же. Снизу — из гонимой глубины — на человека давят грехи предков, которые не прощаются, как известно, до седьмого колена, все эти шорохи кровей, вся эта толща наследственности, которая формирует ему не только рисунок ногтей и разрез глаз, но какие-то черты характера, мании, фобии, предрасположенности, наклонности... Человек сплюснен, как бутерброд. Справа и слева, спереди и сзади его теснят братья по социуму с их антагонизмами, притязаниями, уловками, ложными отношениями, вкусами, правилами, которыми человек опутан с головы до ног, как Гулливер — нитями крошечных, но многочисленных лилипутов. Любое шевеление, таким образом, делается болезненным — так что уж лучше не пытаться. Если ты живешь в либеральном обществе, лучше уж говорить про общепринятые “общечеловеческие ценности” и считать, что ты — свободен. Если в коммунистическом — пить напропалую и повторять: “щи, водка, Ленин” — и не выделаться. Если ты в обществе, где в моде “новое религиозное сознание”, лучше уж дружно восставать на богослужебный язык и переводить прошение “о благорасторопии воздухах” просьбой о “хорошей погоде” и гордиться собой. Но Христос пришел не для этого! Он пришел, чтобы освободить нас от кошмара нашей неволи, чтобы вывести нас из этого “Вавилонского плена”. И Он ведет нас к Себе путями Своего Промысла, который иногда осуществляется для нас через других людей. Тогда послушание становится метафизическим принципом, оборачивается истинной свободой от “мира сего”.

Самыми свободными людьми были не демократы с либералами, не безраздельные тираны, но интеллектуалы, а святые. Святость — это и есть категория свободы от “мира сего”.

— Ну хорошо, а что такое в этом случае свобода творчества? — Совершенно очевидно, что свобода творчества — это не либерализм, то есть возможность амбивалентного выбора, это не анархия, не словесная безответственность, это — жесткое послушание какому-то высшему диктату, императиву, который обязывает написать так, и только так, и никак иначе. Иногда это и самому автору непонятно — откуда, почему, зачем? Спросите меня — я вам ничего не смогу ответить на это:

*В локтевом суставе тикнув,
в чашечке коленной
молодой пчелой жуужжит,
стрекозой стрекочет,
Иерусалим небесный облетает
сокровенной
мыслью, губы в Мертвом море
мочит...*

*С головой четвероликой жизнь!
Усеяна очами!
Взоры около летают, оводы,
шмели и слепни...
Но для прошлого — ослепли эти очи,
и ногами
слышно только, как забвения
запахи окрепли.*

*Дорогая! — ты твердишь мне,
уходя из дома в слякоть
и среди гор таская бесполезных, —
для того оно, забвение, чтоб —
не помнить, чтоб — не плакать
о предателях прекрасных, о лжецах
чудесных!*

*Для того оно — такое — бархатное —
покрывало,
в черном ворсе, с черной блестящей,
в звездах полуношных,
чтобы ты — не убивалась,
чтобы ты — не горевала
о лукавцах гениальных, гордецах
роскошных!..*

*Я и так уже не помню,
я и так уже не вижу,
я и так уже не роюсь в этой свалке
мертвых жуужелиц, улыбок, тайных
писем из Парижа...
Только запахи со мной играют
в салки!*

— А если ваш “поэтический диктат”, то есть звук, который так явно правит вами в стихотворении, придет в противоречие с диктатом христианским, что вы будете делать? То есть если, идя за словом, вы приходите к языческому или еретическому тексту?

— Так я же не пытаюсь в стихах излагать православное вероучение или говорить “с морально”! И вообще я поэт светский. Вы что — читаете Пастернака с точки зрения катехизиса? И тем не менее — он поэт христианский, даже если бы никогда не написал “евангельских” стихов.

Поэзия одухотворяет каждую вещь, к которой она прикасается, каждую деталь, которую она избирает, делает словесной. Слово — вот средоточие, где сходятся поэзия и христианство, ибо Слово преображает мир. Христианский Бог — Слово и Слово воплощенное. И в каноне Андрея Критского вся Православная Церковь вопиет к Богу: “Избави мы от всякого БЕС-СЛОВЕСНОГО желания”. “Бессловесная снедь”, которую вкусила Ева в раю, — сама бессловесность наших устремлений — греховна. Ибо она и есть бессмыслица, ад. Ад — место, где разошлись реальность и смысл. “Ад — неточен” — так выражает эту же мысль один английский поэт.

В связи с этим сугубо бережное отношение к слову (и к слову) в христианстве. “За каждое праздное слово человек даст ответ на Страшном Суде”. “Положу хранение устам моим”, — поет Православная Церковь вслед за пророком Давидом. И так же, как человек грешит “словом”, поэзия осуждается от избытка слов, от их “праздности”, от их “неточности”. Поэт и христианин имеют на себе милость Божию совершенно слиться в единой личности, пребывая в ней как два лица одного существа.

И возможно (это уж мой домысел), те “языки ангельские”, о которых говорит апостол Павел, и есть поэзия в чистом виде.

— Апостол Павел говорит о “языках ангельских” в связи с любовью. “Если я говорю... языками ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая и кимвал звучащий”. Так вот — кого и что вы любите, Олеся?

— Ну и ну. Давайте уж сразу назовем это интервью “медь звенящая” или “кимвал звучащий”, коль скоро вы задаете мне такой вопрос. Потому что — если сказать вам, что я люблю Христа, Его Церковь, семью, друзей, поэзию, вообще культуру и так далее, — значит, практически ничего не скажете: человеку свойственно любить “свое”, и, наверное, апостол Павел говорил не о такой любви. Лучше уж я отвечу, как я хотела бы любить. Я бы хотела здесь всех и все так полюбить, чтобы, уходя, воскликнуть: “Прав ты, Господи, во всех путях Твоих!”

Интервью вела
Марина ЛОХВИЦКАЯ

*Лит. газета — 1995,
24 мар. — С. 3.*

Олеся НИКОЛАЕВА



С дочерью Анастасией

Фото Александра КАРЗАНОВА

Оксюморон, или Святость как категория свободы

лигиозное народничество, в “человеческое, слишком человеческое” Царство Божие на исторической земле. Но я верю в Христа, я люблю культуру, Им вдохновенную, и желаю оставаться, по словам апостола Павла, в том “звании”, в каком я “призвана”. Не было бы большой ошибкой полагать, что монастырский путь — а ведь мы начали именно с разговора об образованных послушниках — есть путь такого вот “опрошенства”. Это путь внутреннего углубления, утончения, духовного художества.

— А какие еще, на ваш взгляд, опасности встречает интеллигентское сознание на христианских путях?

— Помимо пресловутого “опрошенства” — русской интеллигенции есть другая соблазн. кидаящий ее в противоположную крайность. Имя ему — “образованщина”!

— Слово, появившееся еще в прошлом веке. Сейчас все чаще и чаще можно услышать от наших новых христиан рассуждения о сугубом значении и роли религиозного образования. И само по себе здоровое это утверждение и не могло бы встретить никаких возражений — какой христианин стал бы отрицать насыщенность христианского образования, необходимость изучения Писания и Церковного Предания, а значит, и богословия. Но русский максимализм, всегда живущий за счет противопоставлений, доводит это положение до абсурда, как только начинает сталкивать богословскую науку (догматику ли, литургику) с духовническим и молитвенным опытом православных старцев, юродивых прозорливых. Грубо говоря: будем Флоренского читать, так и без старцев обойдемся, а уж если обоих Лосских проштудирем, так и без юродивых проживем. Поморщимся этак безглаголю, говоря о Серафиме Саровском: “Речь некультурная, некрасивая”. (Кстати, вы читали беседы преп. Серафима с Мотовиловым? Какой это колоритный, талантливый, живой русский язык!) Короче говоря, дезавуируем ныне живущих старцев-духовников и засядем за “обоих Ильиных” и модного ныне прот. Николая Ананасьева с их “культурной”, “красивой” речью...

— Вы что — не любите обоих Ильиных и прот. Николая Ананасьева?

— тоже ведь не то чтобы смерд какой-то, и Константин Леонтьев — ничтоже сумняшеся шли и к старцам, и к юродивым. Да и Пушкин — наша национальная гордость — в конце жизни написал “Отцы пустыньники и жены непорочны”, а не “Религиозные философы и ученые феминистки”!

— Но “образованщина”, почти никогда не имеющая богословского, а то и просто систематического гуманитарного образования, живет “под собою не чужа страны”, нося в себе потенциал сектантства, кичась десятком-другим вразброд прочитанных книг, жонглируя вырванными из контекста цитатами, которые приобретают у нее знаковый характер и претендуют на то, чтобы называться “новым религиозным сознанием”. Но все это мы уже проходили — в начале века. И была новизна нет-нет да и обернет к нам свое дряблое эпилептическое лицо.

В начале перестройки я читала в Литературном институте курс лекций, который назывался “История русской религиозной мысли”, и все персонажи из “джентльменского набора” новых религиозных “образованцев” были моими героями. Так вот, если настанет такой невообразимый момент, когда мне Флоренский с Лосским станут мешать слушать старцев, я уж лучше отложу их подальше, а к старцам пойду... По счастью, дилемма эта абсолютно вымышленная.

— Вы часто цитируете Константина Леонтьева. В частности, в предисловии к своей французской книге поэм вы ссылаетесь на него, говоря, что поэт во времена реакции — демократ, во времена демократии — аристократ, во времена атеизма — религиозен, во времена религиозного ханжества — вольнодумец. Как чувствует себя поэт в наши времена? В чем проявляется ваше “вольнодумство” в стране, где происходит почти повальная христианизация?

— Помилуйте, какая такая “повальная христианизация”? Мы живем в самую настоящую неоязыческую эпоху, в эпоху “золотого тельца”, магии, антропоцентризма... Если уж продолжать цитату Константина Леонтьева в применении к нынешнему положению вещей, я бы сказала так: “Поэт на обломках Империи — государственный, во времена религиозного ли-

Денница с целым сонмом ангелов, которые, ниспав, стали известно чем — сатаной с демонами.

— Вы несколько раз упомянули слово “знаковый” в разговоре о характере интеллигентского мышления. Что вы имели в виду?

— Знак не раскрывает смысла, он лишь указывает на причастность к той или иной системе идей, к той или иной группе людей, к “компании”. Ну вот, например, в брежневские времена скажешь три слова: “Сахаров, общечеловеческие ценности, демократия”, — и все понятно: кто ты и каков. А произнесешь в среде интеллигентов-неофитов: “Шмеман, перевод богослужения на русский язык, древнеапостольская церковь”, — тебя и поймут, и примут, словно ты сказал народ. А знаешь закон любви, грубо говоря, тусовки? Тот, кто с нами, тот и избран, тот и элита. Остальные — профаны. Сущность же произносимого всерьез и не обсуждается — так, демагогия какая-то...

— Так вы что, не считаете себя избранной?

— Видите ли, для того чтобы быть избранным, надо по меньшей мере, чтобы тебя кто-то избрал. И в данном случае этот кто-то не Ваня и Маня из такого-то прихода, это — Сам Господь. Потому что если Он вас не избирает, объявляя себя самого избранным, есть попросту самодельность и самозванство. И вот самодельности я очень не люблю...

— А может поэт не считать себя избранником?

— Это другое дело. Поэтический дар сам свидетельствует о себе. Поэт избран, коль скоро наделен талантом именно так чувствовать, так видеть, так говорить. С духовными дарами сложнее. Блок, восклицавший: “Сегодня я — гений”, — не перестает от этого быть гением. Но святой, заявляющий о своей святости, — это оксюморон, ибо этим признанием он тут же низвергается в бездну духовной прелести.

Но вообще, мне кажется, это стремление к духовному элитизму, опознаваемое извне как снобизм, есть оборотная сторона какой-то внутренней ущербности, закомплексованности. Избранными же, в евангельском смысле, оказываются те, которые приняли приглашение и пришли